



Эрст Теодор Ангадеи

ТОМАН



ИССОУНЬИИ ЧСАУБОН

- [Эрнст Гофман](#)
 - [НАТАНАЭЛЬ — ЛОТАРУ](#)
 - [КЛАРА — НАТАНАЭЛИО](#)
 - [НАТАНАЭЛЬ — ЛОТАРУ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Эрнст Гофман
Песочный человек

НАТАНАЭЛЬ — ЛОТАРУ

Вы, верно, все теперь в ужасном беспокойстве, что я так долго-долго не писал. Матушка, конечно, сердится, а Клара, пожалуй, думает, что я провождаю жизнь свою в шумных удовольствиях и совсем позабыл прелестного моего ангела, чей облик столь глубоко запечатлен в моем уме и сердце. Но это несправедливо: всякий день и во всякий час я вспоминаю о вас, и в сладостных снах является мне приветливый образ милой моей Клерхен, и светлые глаза ее улыбаются мне так же пленительно, как это бывало, когда я приходил к вам. Ах, в силах ли был я писать вам в том душевном смятении, какое доселе расстраивало все мои мысли! Что-то ужасное вторглось в мою жизнь! Мрачное предчувствие страшной, грозящей мне участи стелется надо мною подобно черным теням облаков, которые не пронизает ни один приветливый луч солнца. Но прежде надобно сказать тебе, что со мною случилось. Я знаю, что должен это сделать, но едва подумаю о том, во мне подымается безумный смех. Ах, любезный Лотар, как сумею я дать почувствовать тебе хоть отчасти, что случившееся со мной несколько дней тому назад и впрямь могло губительно возмутить мою жизнь! Когда бы ты был здесь, то увидел бы все сам; однако ж теперь ты, верно, почтешь меня за сумасбродного духовидца. Одним словом, то ужасное, что случилось со мною и произвело на меня смертоносное впечатление, от которого я тщетно силюсь избавиться, состояло просто-напросто в том, что несколько дней тому назад, именно 30 октября, в полдень, ко мне в комнату вошел продавец барометров и предложил мне свои товары. Я ничего не купил, да еще пригрозил сбросить его с лестницы, в ответ на что он незамедлительно удалился сам.

Ты догадываешься, что только совсем необыкновенные обстоятельства, оставившие глубокий след в моей жизни, могли придать важность сему приключению, так что особа злополучного старьевщика должна была оказать на меня действие столь губительное. И это так. Я собираю все свои силы, чтобы спокойно и терпеливо рассказать тебе кое-что из времен ранней моей юности, дабы подвижному твоему уму отчетливо и ясно представилось все в

живых образах. Но едва хочу приступить к этому, как уже слышу твой смех и слова Клары: «Да ведь это сущее ребячество!» Смейтесь, прошу вас, смейтесь надо мною от всего сердца! Очень прошу вас! Но, боже милостивый, — волосы мои становятся дыбом, и мне кажется, что, умоляя вас смеяться надо мной, я нахожусь в таком же безумном отчаянии, в каком Франц Моор заклинал Даниеля. Но скорее к делу!

Кроме как во время обеда, я, братья мои и сестры редко видели днем нашего отца. Вероятно, он был очень занят своею должностью. После ужина, который, по старинному обыкновению, подавали уже в семь часов, мы все вместе с матушкой шли в отцовский кабинет и рассаживались за круглым столом. Отец курил табак и время от времени прихлебывал пиво из большого стакана. Часто рассказывал он нам различные диковинные истории, причем сам приходил в такой раж, что его трубка всегда погасала, и я должен был подносить к ней горящую бумагу и снова ее разжигать, что меня весьма забавляло. Нередко также давал он нам книжки с картинками, а сам, безмолвный и неподвижный, сидел в креслах, пуская вокруг себя такие густые облака дыма, что мы все словно плавали в тумане. В такие вечера мать бывала очень печальна и, едва пробьет девять часов, говорила: «Ну, дети! Теперь в постель! В постель! Песочный человек идет, я уже примечаю!» И правда, всякий раз я слышал, как тяжелые, мерные шаги громыхали по лестнице; верно, то был Песочный человек. Однажды это глухое топание и грохот особенно напугали меня; я спросил мать, когда она нас уводила: «Ах, маменька, кто ж этот злой Песочник, что всегда прогоняет нас от папы? Каков он с виду?» — «Дитя мое, нет никакого Песочника, — ответила мать, — когда я говорю, что идет Песочный человек, это лишь значит, что у вас слипаются веки и вы не можете раскрыть глаз, словно вам их запорошило песком». Ответ матери не успокоил меня, и в детском моем уме явственно возникла мысль, что матушка отрицает существование Песочного человека для того только, чтоб мы его не боялись, — я-то ведь всегда слышал, как он подымается по лестнице! Подстрекаемый любопытством и желая обстоятельно разузнать все о Песочном человеке и его отношении к детям, я спросил наконец старую нянюшку, пестовавшую мою младшую сестру, что это за человек такой, Песочник? «Эх, Танельхен, — сказала она, — да

неужто ты еще не знаешь? Это такой злой человек, который приходит за детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет им в глаза пригоршню песка, так что они заливаются кровью и лезут на лоб, а потом кладет ребят в мешок и относит на луну, на прокорм своим детушкам, что сидят там в гнезде, а клювы-то у них кривые, как у сов, и они выклеивают глаза непослушным человеческим детям». И вот воображение мое представило мне страшный образ жестокого Песочника; вечером, как только загремят на лестнице шаги, я дрожал от тоски и ужаса. Мать ничего не могла добиться от меня, кроме прерываемых всхлипываниями криков: «Песочник! Песочник!» Опрометью убежал я в спальню, и всю ночь мучил меня ужасающий призрак Песочного человека. Я уже пришел в такие лета, что мог уразуметь, что с Песочным человеком и его гнездом на луне все обстоит не совсем так, как это насказала мне нянюшка; однако ж Песочный человек все еще оставался для меня страшным призраком, — ужас и трепет наполняли меня, когда я не только слышал, как он подымается по лестнице, но и с шумом раскрывает дверь в кабинет отца и входит туда. Иногда он подолгу пропадал. Но после того приходил несколько дней кряду. Так прошло немало лет, и все же я никак не мог свыкнуться с этим зловещим наваждением и в моей душе не меркнул образ жестокого Песочника. Короткое его обхождение с моим отцом все более и более занимало мое воображение; спросить об этом самого отца не позволяла какая-то непреодолимая робость, но желание самому — самому исследовать эту тайну, увидеть баснословного Песочника, возрастало во мне год от году. Песочный человек увлек меня на стезю чудесного, необычайного, куда так легко совратить детскую душу. Ничто так не любил я, как Читать или слушать страшные истории о кобольдах, ведьмах, гномах и пр.; но над всеми властвовал Песочный человек, которого я беспрестанно рисовал повсюду, — на столах, шкафах, стенах, углем и мелом в самых странных и отвратительных обличьях. Когда мне минуло десять лет, мать, выпроводив меня из детской, отвела мне комнатку в коридоре неподалеку от отцовского кабинета. Нас все еще торопливо отсылали спать, едва пробьет девять часов и в доме послышится приближение незнакомца. Из своей каморки я слышал, как он входил к отцу, и вскоре мне начинало казаться, что по дому разносится какой-то тонкий, странно пахнущий

чад. Любопытство все сильнее распалило меня и наконец придало мне решимость как-нибудь да повидать Песочного человека. Часто, как только уйдет мать, я прокрадывался из своей комнатки в коридор. Но не мог ничего приметить, ибо, когда я достигал места, откуда мог увидеть Песочного человека, он уже затворял за собою дверь. Наконец, гонимый необоримым желанием, я решил спрятаться в отцовском кабинете и дожждаться там Песочного человека.

Однажды вечером, по молчаливости отца и печальной задумчивости матери, я заключил, что должен прийти Песочный человек; а посему, сказавшись весьма усталым и не дожидаясь девяти часов, я оставил комнату и притаился в темном закоулке подле самой двери. Входная дверь закрипела; в сенях и на лестнице послышались медленные, тяжелые шаги. Мать торопливо прошла мимо, уводя детей. Тихо-тихо растворил я дверь отцовской комнаты. Он сидел, по своему обыкновению, безмолвный и неподвижный, спиною ко входу; он меня не заметил, я проворно скользнул в комнату и укрылся за занавеску, которой был задернут открытый шкаф, где висело отцовское платье. Ближе — все ближе слышались шаги, — за дверьми кто-то странно кашлял, кряхтел и бормотал. Сердце мое билось от страха и ожидания. Вот шаги загромыхали подле самой двери, — подле самой двери. Кто-то сильно рванул ручку, дверь со скрипом растворилась! Крепясь изо всех сил, я осторожно высовываю голову вперед. Песочный человек стоит посреди комнаты прямо перед моим отцом, яркий свет свечей озаряет его лицо! Песочник, страшный Песочник — да это был старый адвокат Коппелиус, который частенько у нас обедал!

Однако ж никакое самое страшное видение не могло повергнуть меня в больший ужас, нежели этот самый Коппелиус. Представь себе высокого, плечистого человека с большой нескладной головой, землисто-желтым лицом; под его густыми седыми бровями злобно сверкают зеленоватые кошачьи глазки; огромный здоровенный нос навис над верхней губой. Кривой рот его нередко подергивается злобной улыбкой; тогда на щеках выступают два багровых пятна и странное шипение вырывается из-за стиснутых зубов. Коппелиус являлся всегда в пепельно-сером фраке старинного покроя; такие же были у него камзол и панталоны, а чулки черные и башмаки со стразовыми пряжками. Маленький парик едва прикрывал его

макушку, букли торчали торчком над его большими багровыми ушами, а широкий глухой кошелек топорщился на затылке, открывая серебряную пряжку, стягивающую шейный платок. Весь его облик вселял ужас и отвращение; но особенно ненавистны были нам, детям, его узловатые косматые ручищи, так что нам претило все, до чего бы он ни дотронулся. Он это заметил и стал тешить себя тем, что под разными предлогами нарочно трогал печения или фрукты, которые добрая наша матушка украдкой клала нам на тарелки, так что мы, со слезами на глазах, смотрели на них и не могли от тошноты и гадливости отведать те лакомства, которые нас всегда радовали. Точно так же поступал он по праздникам, когда отец наливал нам по рюмке сладкого вина. Он спешил перебрать все своими ручищами, а то и подносил рюмку к синим губам и заливался адским смехом, заметив, что мы не смели обнаружить нашу досаду иначе, как только тихими всхлипываниями. Он всегда называл нас зверенышами, в его присутствии нам не дозволялось и пикнуть, и мы от всей души проклинали мерзкого, враждебного человека, который с умыслом и намерением отравлял наши невиннейшие радости. Матушка, казалось, так же как и мы, ненавидела отвратительного Коппелиуса, ибо стоило ему появиться, как ее веселая непринужденность сменялась мрачной и озабоченной серьезностью. Отец обходился с ним как с высшим существом, которое надобно всячески ублажать и терпеливо сносить все его невежества. Довольно было малейшего намека — и для него готовили любимые кушанья и подавали редкостные вина.

Когда я увидел Коппелиуса, то меня, повергнув в ужас и трепет, осенила внезапная мысль, что ведь никто другой и не мог быть Песочным человеком, но этот Песочный человек уже не представлялся мне буклой нянюшкиных сказок, который таскает детские глаза на прокорм своему отродию в совиное гнездо на луне, — нет! — это был отвратительный призрачный колдун, который всюду, где бы он ни появлялся, приносил горечь, напасть — временную и вечную погибель.

Я стоял словно замороженный. Высунув голову из занавесок, я так и застыл, подслушивая, хотя и рисковал быть открытым и, как я хорошо понимал, жестоко наказанным. Отец встретил Коппелиуса весьма торжественно. «Живей! За дело!» — воскликнул тот глухим

гнусявым голосом и скинул с себя платье. Отец безмолвно и мрачно снял шлафрок, и они облачились в длинные черные балахоны. Откуда они их взяли, я проглядел. Отец отворил дверцы стенного шкафа; и я увидел: то, что я издавна считал шкафом, была скорее черная выемка, где стоял небольшой очаг. Коппелиус приблизился, и голубое пламя, потрескивая, взвилось над очагом. Множество диковинных сосудов стояло вокруг. О боже! Когда старый мой отец склонился над огнем, — какая ужасная случилась с ним перемена! Казалось, жестокая судорожная боль преобразила его кроткое честное лицо в уродливую отвратительную сатанинскую личину. Он походил на Коппелиуса! Сей последний, взяв раскаленные щипцы, вытаскивал ими добела раскаленные комья какого-то вещества, которое он потом усердно бил молотком. Мне чудилось, что везде вокруг мелькает множество человеческих лиц, только без глаз, — вместо них ужасные, глубокие черные впадины. «Глаза сюда! Глаза!» — воскликнул Коппелиус глухим и грозным голосом. Объятый неизъяснимым ужасом, я вскрикнул и рухнул из моей засады на пол. И вот Коппелиус схватил меня. «А, звереныш! Звереныш! — заблеял он, скрежеща зубами, поднял меня и швырнул на очаг, так что пламя опалило мои волосы. — Теперь у нас есть глаза, глаза, — чудесные детские глаза», — так бормотал Коппелиус и, набрав в печи полные горсти раскаленных угольков, собирался бросить их мне в лицо. И вот отец мой, простирая к нему руки, взмолился: «Мастер! Мастер! — оставь глаза моему Натанаэлю, — оставь!» Коппелиус громко захохотал: «Пусть у малого останутся глаза, и он хорошенько выплачет свой урок на этом свете; ну а все же мы наведем ревизию, как там у него прилажены руки и ноги». И вот он схватил меня с такой силой, что у меня захрустели все суставы, и принялся вертеть мои руки и ноги, то выкручивая их, то вправляя. «Ага, — эта вот не больно ладно ходит! — а эта хорошо, как и было! Старик знал свое дело!» — так шипел и бормотал Коппелиус. Но у меня в глазах все потемнело и замутилось, внезапная судорога пронзила все существо мое — я ничего более не чувствовал. Теплое нежное дыхание коснулось моего лица, я пробудился как бы от смертного сна, надо мною склонилась мать. «Тут ли еще Песочник?» — пролепетал я. «Нет, милое дитя мое, нет, он давным-давно ушел и не сделает тебе

ничего дурного!» — так говорила матушка и целовала и прижимала к сердцу возвращенного ей любимого сына.

Но для чего утруждать тебя, любезный Лотар? Для чего столь пространно пересказывать тебе все подробности, когда еще так много надобно сообщить тебе? Словом, мое подслушивание было открыто, и Коппелиус жестоко обошелся со мной. Испуг и ужас произвели во мне сильную горячку, которою и страдал я несколько недель. «Тут ли еще Песочник?» — то были первые мои разумные слова и знак моего выздоровления, моего спасения. Теперь остается рассказать тебе о самом страшном часе моей юности; тогда ты убедишься: не ослабление глаз моих тому причина, что все представляется мне бесцветным, а темное предопределение и впрямь нависло надо мною, подобно мрачному облаку, которое я, быть может, рассею только смертью.

Коппелиус не показывался более; разнесся слух, что он оставил город.

Минуло около года, мы, по старому, неизменному своему обыкновению, сидели вечером за круглым столом. Отец был весел и рассказывал множество занимательных историй, случившихся с ним в путешествиях, во времена его молодости. И вот, когда пробило девять часов, мы внезапно услышали, как заскрипели петли входной двери и медленные чугунные шаги загремели в сенях и по лестнице. «Это Коппелиус!» — сказала, побледнев, матушка. «Да! — это Коппелиус», — повторил отец усталым, прерывающимся голосом. Слезы хлынули из глаз матушки. «Отец! Отец! — вскричала она. — Неужто все еще надо?» — «В последний раз! — отвечал он, — в последний раз приходит он ко мне, обещаю тебе. Ступай, ступай с детьми! Идите, идите спать! Покойной ночи!»

Меня словно придавил тяжелый холодный камень — дыхание мое сперлось! Мать, видя, что я застыл в неподвижности, взяла меня за руку: «Пойдем, Натанаэль, пойдем!» Я позволил увести себя, я вошел в свою комнату. «Будь спокоен, будь спокоен, ложись в постель — спи! спи!» — крикнула мне вслед матушка; однако ж, томимый несказанным внутренним страхом и беспокойством, я не мог сомкнуть вежд. Ненавистный, мерзкий Коппелиус, сверкая глазами, стоял передо мной, плумливо смеясь, и я напрасно силился отогнать от себя его образ. Верно, было уже около полуночи, когда раздался

страшный удар, словно выстрелили из пушки. Весь дом затрясся, что-то загромыхало и зашипело подле моей двери, а входная дверь с треском захлопнулась. «Это Коппелиус!» — воскликнул я вне себя и вскочил с постели. И вдруг послышался пронзительный крик безутешного, непереносимого горя; я бросился в комнату отца; дверь была отворена настежь, удушливый чад валил мне навстречу, служанка вопила: «Ах, барин, барин!» Перед дымящимся очагом на полу лежал мой отец, мертвый, с черным, обгоревшим, обезображенным лицом; вокруг него визжали и выли сестры — мать была в беспамятстве. «Коппелиус, исчадие ада, ты убил отца моего!» — так воскликнул я и лишился чувств. Спустя два дня, когда тело моего отца положили в гроб, черты его снова просветлели и стали тихими и кроткими, как в продолжение всей его жизни. Утешение сошло в мою душу, когда я подумал, что его союз с адским Коппелиусом не навлечет на него вечного осуждения.

Взрыв разбудил соседей, о происшедшем разнеслась молва, и власти, уведомившись о том, хотели потребовать Коппелиуса к ответу; но он бесследно исчез из города.

Теперь, любезный мой друг, когда я открою тебе, что помянутый продавец барометров был не кто иной, как проклятый Коппелиус, то ты не станешь пенять на меня, что я понапрасну возомнил, будто это враждебное вторжение принесет мне великое несчастье. Он был одет иначе, но фигура и черты лица Коппелиуса слишком глубоко запечатлелись в моей душе, так что я никак не мог обознаться. Притом Коппелиус даже не переименовал своего имени. Он выдает себя здесь за пьемонтского механика и называет себя Джузеппе Коппола.

Я решил хорошенько с ним переведаться и отомстить за смерть отца, чего бы то ни стоило.

Не говори ничего матушке о появлении этого мерзкого колдуна. Поклонись от меня милой Кларе, я напишу ей в более спокойном расположении духа. Прощай и пр.

КЛАРА — НАТАНАЭЛЮ

Хотя ты давно ко мне не писал, но я все же уверена, что ты хранишь меня в своем уме и сердце. Ибо ты, верно, живо вспомнил обо мне, когда отправлял письмо к брату Лотару, а надписал мое имя. Я с радостью его распечатала и заметила ошибку, лишь дочитав до слов: «Ах, любезный Лотар!» Конечно, я должна была не читать далее, а отдать письмо брату. Но хотя ты с ребяческой задирчивостью порой и выговаривал мне, будто у меня такой спокойный и рассудительный нрав, что если бы дом вот-вот готов был обрушиться, то я, подобно некой женщине, прежде чем убежать, успела бы проворно поправить загнутую занавеску, — все ж мне едва ли надобно уверять, что твое письмо глубоко потрясло меня. Я едва дышала, в глазах у меня зарябило. Ах, возлюбленный Натанаэль, что же столь ужасное могло возмутить твою жизнь? Мысль о разлуке, о том, что я никогда не свижусь с тобой, поразила меня как удар раскаленного кинжала. Я читала и перечитывала! Твое описание мерзкого Коппелиуса ужасно. Только теперь узнала я, какая страшная, жестокая кончина постигла твоего старого доброго отца. Брат Лотар, которому я возвратила твое письмо, старался меня успокоить, но мало в том преуспел. Зловещий продавец барометров Джузеппе Коппола неустанно следовал за мной по пятам, и, как мне ни стыдно признаться, он возмутил мой здоровый, всегда спокойный сон различными причудливыми видениями. Однако ж вскоре, уже поутру, все представилось мне иначе. Итак, не сердись на меня, возлюбленный мой, когда Лотар скажет тебе, что я, вопреки странному твоему предчувствию, будто Коппелиус причинит тебе зло, все же весела и беспечальна, как и прежде.

Скажу чистосердечно, мне думается, что все то страшное и ужасное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен. Видать, старый Коппелиус и впрямь был довольно мерзок, но то, что он ненавидел детей, вселяло в вас истинное к нему отвращение.

Страшный Песочник из нянюшкиной сказки весьма естественно соединился в твоей детской душе со старым Коппелиусом, который,

даже когда ты перестал верить в Песочного человека, остался для тебя призрачным колдуном, особенно опасным для детей. Зловещие свидания его с твоим отцом в ночную пору были не что иное, как тайные занятия алхимией, чем матушка твоя не могла быть довольна, ибо на то, нет сомнения, уходило попусту много денег, да и, как всегда бывает с подобными адептами, сии труды, наполняя душу отца твоего обманчивыми стремлениями к высокой мудрости, отвлекали его от забот о своем семействе. Отец твой, верно, причинил себе смерть собственной неосторожностью, и Коппелиус в том неповинен. Поверишь ли, вчера я допытывалась у нашего сведущего соседа, аптекаря, могут ли во время химических опытов приключиться подобные взрывы, внезапно поражающие смертью. Он ответил: «Всеконечно!» — и описал, по своему обыкновению, весьма пространно и обстоятельно, как это могло сделаться, на сказав при том множество мудреных слов, из которых я ни одного не могла упомнить. Теперь ты станешь досадовать на свою Клару, ты скажешь: « В эту холодную душу не проникает ни один луч того таинственного, что так часто обвивает человека незримыми руками; она видит только пеструю поверхность мира и, как ребячливое дитя, радуется золотистым плодам, в сердцевине коих скрыт смертоносный яд».

Ах, возлюбленный Натанаэль, или тебе не верится, что и веселая, беспечальная, беззаботная душа может почувствовать враждебное проникновение темной силы, стремящейся погубить нас в нашем собственном «я»? Но прости, если я, неученая девушка, попытаюсь как-нибудь растолковать, что, собственно, я разумею под этой внутренней борьбой. В конце концов я, верно, не найду надлежащих слов, и ты подымеешь меня на смех, не оттого, что у меня глупые мысли, а потому, что я так нескладно пытаюсь их выразить.

Ежели существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом захватить нас и увлечь на опасную, губительную стезю, куда мы бы иначе никогда не вступили, — ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим «я», ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной работы. Но ежели дух наш тверд и укреплен жизненной бодростью, то он способен отличить чуждое, враждебное ему воздействие, именно как такое, и спокойно следовать тем путем,

куда влекут нас наши склонности и призвание, — тогда эта зловещая сила исчезнет в напрасном борении за свой образ, который должен стать отражением нашего я. «Верно и то, — прибавил Лотар, — что темная физическая сила, которой мы предаемся только по собственной воле, часто населяет нашу душу чуждыми образами, занесенными в нее внешним миром, так что мы сами только воспламеняем наш дух, который, как представляется нам в диковинном заблуждении, говорит из этого образа. Это фантом нашего собственного „я“, чье внутренне сродство с нами и глубокое воздействие на нашу душу ввергает нас в ад или возносит на небеса». Теперь ты видишь, бесценный мой Натанаэль, что мы, я и брат Лотар, порядком наговорились о темных силах и началах, и эта материя — после того как я не без труда изложила здесь самое главное — представляется мне довольно глубокомысленною. Я не совсем хорошо понимаю последние слова Лотара, я только чувствую, что он под этим разумеет, и все же мне кажется, что все это весьма справедливо. Умоляю тебя, выкинь совсем из головы мерзкого адвоката Коппелиуса и продавца барометров Джузеппе Копполу. Проникнись мыслью, что эти чуждые образы не властны над тобою; только вера в их враждебное могущество может сделать их действительно враждебными тебе. Ежели бы каждая строчка твоего письма не свидетельствовала о жестоком смятении твоего ума, ежели бы твое состояние не сокрушало меня до глубины души, то я взаправду могла бы посмеяться над адвокатом Песочником и продавцом барометров Коппелиусом. Будь весел, весел! Я решила быть твоим ангелом-хранителем и, как только мерзкий Коппола вознамерится смутить твой сон, явлюсь к тебе и громким смехом прогоню его прочь. Я нисколечко не боюсь ни его самого, ни его гадких рук, и он не посмеет под видом адвоката поганить мне лакомства или, как Песочный человек, засыпать мне глаза песком.

Твоя навеки, сердечно любимый мой Натанаэль, и т. д. и т. д.

НАТАНАЭЛЬ — ЛОТАРУ

Мне очень досадно, что Клара намереди, правда, по причине моей рассеянности, ошибкою распечатала и прочла мое письмо к тебе. Она написала мне весьма глубокомысленное, философское письмо, где пространно доказывает, что Коппелиус и Коппола существуют только в моем воображении, они лишь фантомы моего «я», которые мгновенно разлетятся в прах, ежели я их таковыми признаю. В самом деле, кто бы мог подумать, что ум, так часто светящийся подобно сладостной мечте в этих светлых, прелестных, смеющихся детских глазах, мог быть столь рассудителен, столь способен к магистерским дефинициям. Она ссылается на тебя. Вы вместе говорили обо мне. Ты, верно, читаешь ей полный курс логики, чтобы она могла так тонко все различать и разделять. Брось это! Впрочем, теперь уже нет сомнения, что продавец барометров Джузеппе Коппола вовсе не старый адвокат Коппелиус. Я слушаю лекции у недавно прибывшего сюда профессора физики, природного итальянца, которого, так же, как и знаменитого натуралиста, зовут Спаланцани. Он с давних лет знает Копполу, да и, кроме того, уже по одному выговору можно заметить, что тот чистейший пьемонтец. Коппелиус был немец, но, мне сдается, не настоящий. Я еще не совсем спокоен. Почитайте меня вы оба, ты и Клара, — если хотите, — мрачным мечтателем, я все же не могу освободиться от впечатления, которое произвело на меня проклятое лицо Коппелиуса. Я рад, что он уехал из города, как мне сказывал Спаланцани. Кстати, этот профессор — преудивительный чудак. Низенький, плотный человечек с выдающимися скулами, тонким носом, оттопыренными губами, маленькими острыми глазками. Но лучше, нежели из любого описания, ты узнаешь его, когда поглядишь в каком-нибудь берлинском карманном календаре на портрет Калиостро, гравированный Ходовецким. Таков именно Спаланцани! Намедни подымаюсь я к нему по лестнице и примечаю, что занавеска, которая обыкновенно плотно задернута над стеклянной дверью, слегка завернулась и оставила небольшую щелку. Сам не знаю, как это случилось, но я с любопытством заглянул туда. В комнате перед маленьким столиком, положив на него сложенные вместе руки,

сидела высокая, очень стройная, соразмерная во всех пропорциях, прекрасно одетая девица. Она сидела напротив дверей, так что я мог хорошо рассмотреть ее ангельское личико. Меня, казалось, она не замечала, вообще в ее глазах было какое-то оцепенение, я мог бы даже сказать, им недоставало зрительной силы, словно она спала с открытыми очами. Мне сделалось не по себе, и я тихонько прокрался в аудиторию, помещавшуюся рядом. После я узнал, что девица, которую я видел, была дочь Спаланцани, по имени Олимпия; он держит ее взаперти с такой достойной удивления строгостью, что ни один человек не смеет к ней проникнуть. В конце концов тут сокрыто какое-то важное обстоятельство, быть может, она слабоумна или имеет какой другой недостаток. Но для чего пишу я тебе обо всем этом? Я бы мог лучше и обстоятельнее рассказать тебе все это на словах. Знай же, что через две недели я буду с вами. Я непременно должен видеть прелестного, нежного моего ангела, мою Клару. Тогда рассеется то дурное расположение духа, которое (признаюсь) едва не овладело мною после ее злополучного рассудительного письма, поэтому я не пишу к ней и сегодня.

Кланяюсь несчетное число раз и т. д. и т. д.

Нельзя измыслить ничего более странного и удивительного, чем то, что приключилось с моим бедным другом, юным студентом Натанаэлем, и о чем я собираюсь тебе, снисходительный читатель, теперь рассказать. Не приходилось ли тебе, благосклонный читатель, пережить что-либо такое, что всецело завладевало бы твоим сердцем, чувствами и помыслами, вытесняя все остальное? Все в тебе бурлит и клопочет, воспламененная кровь кипит в жилах и горячим румянцем заливает ланиты. Твой взор странен, он словно ловит в пустоте образы, незримые для других, и речь твоя теряется в неясных вздохах. И вот друзья спрашивают тебя: «Что это с вами, почтеннейший? Какая у вас забота, дражайший?» И вот всеми пламенными красками, всеми тенями и светом хочешь ты передать возникшие в тебе видения и силишься обрести слова, чтобы хотя приступить к рассказу. Но тебе сдается, что с первого же слова ты должен представить все то чудесное, великолепное, страшное, веселое, ужасающее, что приключилось тебе, и поразить всех как бы электрическим ударом. Однако ж всякое слово, все, чем только располагает наша речь,

кажется тебе бесцветным, холодным и мертвым. А ты все ищешь и ловишь, запинаешься и лепечешь, и трезвые вопросы твоих друзей, подобно ледяному дуновению ветра, остужают жар твоей души, пока он не угаснет совершенно. Но ежели ты, как смелый живописец, сперва очертишь дерзкими штрихами абрис внутреннего твоего видения, то потом уже с легкостью сможешь накладывать все более пламенные краски, и живой рой пестрых образов увлечет твоих друзей, и вместе с тобой они увидят себя посреди той картины, что возникла в твоей душе. Должен признаться, благосклонный читатель, меня, собственно, никто не спрашивал об истории молодого Натанаэля; но ты отлично знаешь, что я принадлежу к той удивительной породе авторов, кои, когда они носят в себе что-либо, подобное только что описанному, тотчас воображают, что всякий встречный, да и весь свет, только и спрашивают: «Что там такое? Расскажите-ка, любезнейший!» И вот меня неудержимо влечет поговорить с тобой о злополучной жизни Натанаэля. Странность, необычайность ее поразили мою душу, и потому-то, — а также чтобы я мог — о мой читатель! — тотчас склонить тебя к пониманию всего чудесного, которого тут не мало, — я изо всех сил старался начать историю Натанаэля как можно умней — своеобразней, пленительней. «Однажды» — прекраснейшее начало для всякого рассказа, — слишком обыденно! «В маленьком захолустном городке С... жил» — несколько лучше, по крайней мере дает начало градации. Или сразу посредством «*medias in res*»^[1]: «Проваливай ко всем чертям», — вскричал студент Натанаэль, и бешенство и ужас отразились в его диком взоре, когда продавец барометров Джузеппе Коппола...» Так я в самом деле и начал бы, когда б полагал, что в диком взоре студента Натанаэля чувствуется что-то смешное, однако ж эта история несколько не забавна. Мне не всходила на ум ни одна фраза, в которой хотя бы немного отражалось радужное сияние образа, возникшего перед моим внутренним взором. Я решил не начинать вовсе. Итак, благосклонный читатель, прими эти три письма, которые охотно передал мне мой друг Лотар, за абрис картины, на которую я, повествуя, буду стараться накладывать все больше и больше красок. Быть может, мне посчастливится, подобно хорошему портретному живописцу, так метко схватить иные лица, что ты найдешь их похожими, не зная оригинала, и тебе даже покажется, что ты уже не раз видел этих

людей своими собственными очами. И, быть может, тогда, о мой читатель, ты поверишь, что нет ничего более удивительного и безумного, чем сама действительная жизнь, и что поэт может представить лишь ее смутное отражение, словно в негладко отполированном зеркале.

Для того чтобы сразу сказать все, что необходимо знать с самого начала, следует к предыдущим письмам добавить, что вскоре после смерти Натанаэлева отца Клара и Лотар, дети одного дальнего родственника, также недавно умершего и оставившего их сиротами, были приняты в семью матерью Натанаэля. Клара и Натанаэль почувствовали друг к другу живейшую склонность, против чего не мог возразить ни один человек на свете; они были уже помолвлены, когда Натанаэль оставил город, чтобы продолжать свое занятие науками в Г. Как видно из его последнего письма, он находится сейчас там и слушает лекции у знаменитого профессора физики Спаланцани.

Теперь я мог бы спокойно продолжать свое повествование. Но в эту минуту образ Клары так живо представляется моему воображению, что я не могу отвести от него глаз, как это всегда со мной случается, когда она с милой улыбкой смотрит на меня. Клару никак нельзя было назвать красивой; на этом сходились все, кому по должности надлежало понимать в красоте. Но архитекторы отзывались с похвалой о чистых пропорциях ее стана, живописцы находили, что ее спина, плечи и грудь сформированы, пожалуй, слишком целомудренно, но зато они все пленялись ее чудесными, как у Марии Магдалины, волосами и без конца болтали о колорите Баттони. А один из них, истинный фантаст, привел странное сравнение, уподобив глаза Клары — озеру Рейсдаля, в зеркальной глади которого отражается лазурь безоблачного неба, леса и цветущие пажити, весь живой, пестрый, богатый, веселый ландшафт. Но поэты и виртуозы заходили еще дальше, уверяя: «Какое там озеро, какая там зеркальная гладь! Разве случилось нам видеть эту деву, когда бы взор ее не сиял чудеснейшей небесной гармонией, проникающей в нашу душу, так что все в ней пробуждается и оживает. Ежели и тогда мы не споем ничего путного, то от нас вообще мало проку, и это мы недвусмысленно читаем в тонкой усмешке, мелькающей на устах Клары, когда решаемся пропищать перед ней что-либо притязующее называться пением, хотя это всего лишь бессвязные и беспорядочно

скачущие звуки». Так оно и было. Клара была наделена воображением живым и сильным, как веселое, непринужденное дитя, обладала женским сердцем, нежным и чувствительным, и умом весьма пронизательным. Умствующие и мудрствующие головы не имели у нее успеха, ибо светлый взор Клары и помянутая тонкая ироническая усмешка без лишних слов, вообще не свойственных ее молчаливой натуре, казалось, говорили им: «Милые друзья! Как можете вы от меня требовать, чтобы созданные вами расплывчатые тени я почла за подлинные фигуры, исполненные жизни и движения?» Оттого многие упрекали Клару и холодности, бесчувственности и прозаичности; зато другие, чье понимание жизни отличалось ясностью и глубиной, любили эту сердечную, рассудительную, доверчивую, как дитя, девушку, но никто не любил ее более Натанаэля, весело и ревностно упражнявшегося в науках и искусствах. Клара всей душой была предана Натанаэлю. Первые тени омрачили ее жизнь, когда он разлучился с нею. С каким восхищением бросилась она в его объятия, когда он, как обещал в своем последнем письме к Лотару, наконец и впрямь возвратился в родной город и вступил в родительский дом. Надежды Натанаэля сбылись; ибо с той минуты, как он свиделся с Klarой, он уже не вспоминал более ни о ее философическом письме, ни об адвокате Коппелиусе; дурное расположение духа совсем изгладилось.

Однако ж Натанаэль был прав, когда писал другу своему Лотару, что образ отвратительного продавца барометров Копполы губительно проник в его жизнь. Все это чувствовали, ибо уже с первых дней пребывания Натанаэль показал полную перемену во всем своем существе. Он погрузился в мрачную мечтательность и предавался ей с такой странностию, какая за ним никогда не замечалась. Вся жизнь его состояла из сновидений и предчувствий. Он беспрестанно говорил, что всякий человек, мня себя свободным, лишь служит ужасной игре темных сил; тщетно будет им противиться, надо со смирением сносить то, что предначертано самим роком. Он заходил еще далее, утверждая, что весьма безрассудно полагать, будто в искусстве и науке можно творить по собственному произволу, ибо вдохновение, без коего невозможно ничего произвести, рождается не из нашей души, а от воздействия какого-то вне нас лежащего высшего начала.

Рассудительной Кларе все эти мистические бредни были в высшей степени противны, но все старания их опровергнуть, по-видимому, были напрасны. Только когда Натанаэль стал доказывать, что Коппелиус и есть то злое начало, которое овладело им с той минуты, как он подслушивал за занавесом, и что отвратительный сей демон ужаснейшим образом может смутить их любовное счастье, Клара вдруг сделалась весьма серьезной и сказала:

— Да, Натанаэль! Ты прав. Коппелиус — злое враждебное начало, он, подобно дьявольской силе, которая явственно проникла в нашу жизнь, может произвести ужаснейшее действие, но только в том случае, ежели ты не исторгнешь его из своего ума и сердца. Покуда ты в него веришь, он существует и оказывает на тебя свое действие, только твоя вера и составляет его могущество.

Натанаэль, разгневанный тем, что Клара допускает бытие демона лишь в собственной его душе, пустился было в изложение целого учения о дьяволе и темных силах, но Клара, к немалой его досаде, с неудовольствием перебила его каким-то ничтожным замечанием. Он полагал, что холодным, нечувствительным душам не дано постичь столь глубокие тайны, однако ж, не отдавая себе отчета, что к подобным низменным натурам он причисляет и Клару, не оставлял попыток приобщить ее к этим тайнам. Рано поутру, когда Клара помогала готовить завтрак, он стоял подле нее и читал ей всевозможные мистические книги, так что Клара наконец сказала:

— Ах, любезный Натанаэль, что, ежели мне вздумается обозвать самого тебя злым началом, оказывающим губительное действие на мой кофе? Ведь ежели я брошу все и примусь слушать тебя не сводя глаз, как ты того желаешь, то кофе непременно убежит и все останутся без завтрака!

Натанаэль поспешно захлопнул книгу и в гневе убежал в свою комнату. Прежде он особенно хорошо умел сочинять веселые живые рассказы, которые Клара слушала с непритворным удовольствием; теперь его творения сделались мрачными, невразумительными, бесформенными, и, хотя Клара, щадя его, не говорила об этом, он все же легко угадывал, как мало они ей приятны. Ничто не было ей так несносно, как скука; в ее взорах и речах тотчас обнаруживалась непреодолимая умственная дремота. Сочинения Натанаэля и впрямь были отменно скучны. Его досада на холодный, прозаический нрав

Клары возрастала с каждым днем; Клара также не могла побороть свое неудовольствие темным, сумрачным, скучным мистицизмом Натанаэля, и, таким образом, неприметно для них самих, сердца их все более и более разделялись. Образ отвратительного Коппелиуса, как признавался сам себе Натанаэль, поблек в его воображении, и ему часто стоило немалого труда живо представить его в своих стихах, где тот выступал в роли ужасного фатума. Наконец ему вздумалось сделать предметом стихотворения свое темное предчувствие, будто Коппелиус смутит его любовное счастье. Он представил себя соединенным с Кларою вечной любовью, но время от времени словно черная рука вторгается в их жизнь и похищает одну за другой ниспосланные им радости. Наконец, когда они уже стоят перед алтарем, появляется ужасный Коппелиус и прикасается к прелестным глазам Клары; подобно кровавым искрам, они проникают в грудь Натанаэля, паля и обжигая. Коппелиус хватает его и швыряет в пылающий огненный круг, который вертится с быстротою вихря и с шумом и ревом увлекает его за собой. Все завывает, словно злобный ураган яростно бичует кипящие морские валы, вздымающиеся подобно черным седоголовым исполинам. Но посреди этого дикого бушевания слышится голос Клары: «Разве ты не в силах взглянуть на меня? Коппелиус тебя обманул, то не мои глаза опалили тебе грудь, то были горящие капли крови собственного твоего сердца, — мои глаза целы, взгляни на меня!» Натанаэль думает: «Это Клара — и я предан ей навеки!» И вот будто эта мысль с непреодолимой силой врывается в огненный круг; он перестает вращаться, и глухой рев замирает в черной бездне. Натанаэль глядит в глаза Кларе; но это сама смерть приветливо взирает на него очами любимой.

Сочиняя это, Натанаэль был весьма рассудителен и спокоен, он оттачивал и улучшал каждую строку, и так как он подчинил себя метрическим канонам, то не успокоился до тех пор, пока его стих не достиг полной чистоты и благозвучия. Но когда труд его пришел к концу и он прочитал свои стихи вслух, внезапный страх и трепет объяли его, и он вскричал в исступлении: «Чей это ужасающий голос?» Вскоре ему снова показалось, что это лишь весьма удачное поэтическое произведение, и он решил, что оно должно воспламенить хладную душу Клары, хотя и не мог дать себе ясного отчета, для чего, собственно, надобно воспламенять ее и куда это заведет, ежели начать

томить ее ужасающими образами, которые предвещают ее любви страшную и губительную участь.

Натанаэль и Клара сидели однажды в маленьком садике подле дома; Клара была весела, ибо Натанаэль целых три дня, которые он употребил на сочинение стихов, не мучил ее своими снами и предчувствиями. Натанаэль, как и прежде, с большой живостью и радостью говорил о различных веселых предметах, так что Клара сказала:

— Ну, вот, наконец-то ты опять совсем мой, видишь, как мы прогнали этого мерзкого Коппелиуса?

Но тут Натанаэль вспомнил, что в кармане у него стихи, которые он намеревался ей прочесть. Он тотчас вынул тетрадь и начал читать; Клара, по обыкновению ожидая чего-нибудь скучного, с терпеливой покорностью принялась за вязанье. Но когда мрачные облака стали все более и более сгущаться, Клара выронила из рук чулок и пристально посмотрела в глаза Натанаэлю. Тот безудержно продолжал читать, щеки его пылали от внутреннего жара, слезы лились из глаз — наконец он кончил, застонав от глубокого изнеможения, взял руку Клары и вздохнул, словно в безутешном горе: «Ах! Клара! Клара!» Клара с нежностью прижала его к груди и сказала тихо, но твердо и серьезно:

— Натанаэль, возлюбленный мой Натанаэль, брось эту вздорную, нелепую, сумасбродную сказку в огонь.

Тут Натанаэль вскочил и с запальчивостью, оттолкнув от себя Клару, вскричал:

— Ты бездушный, проклятый автомат!

Он убежал; глубоко оскорбленная Клара залилась горькими слезами. «Ах, он никогда, никогда не любил меня, он не понимает меня!» — громко восклицала она, рыдая. Лотар вошел в беседку; Клара была принуждена рассказать ему все случившееся; он любил сестру свою всем сердцем, каждое слово ее жалобы, подобно искре, воспламеняло его душу, так что неудовольствие, которое он давно питал против мечтательного Натанаэля, перешло в бешеный гнев. Он побежал за ним и стал жестоко укорять его за безрассудный поступок, на что вспыльчивый Натанаэль отвечал ему с такою же горячностью. За «сумасбродного, безумного шута» было заплачено именем души низкой, жалкой, обиденной. Поединок был неизбежен. Они порешили

па другой день поутру сойтись за садом и переведаться друг с другом, по тамошнему академическому обычаю, на остро отточенных коротких рапирах. Мрачные и безмолвные, бродили они вокруг; Клара слышала их перепалку и заметила, что в сумерки фейхтмейстер принес рапиры. Она предугадывала, что должно случиться. Прибыв на место поединка, Натанаэль и Лотар все в том же мрачном молчании скинули верхнее платье и, сверкая очами, с кровожадной яростью готовы были напасть друг на друга, как, отворив садовую калитку, к ним бросилась Клара. Рыдая, она восклицала:

— Неистовые, бешеные безумцы! Заколите меня, прежде чем станете сражаться! Как же мне жить на свете, когда возлюбленный убьет моего брата или мой брат возлюбленного!

Лотар опустил оружие и в безмолвии потупил глаза, но в душе Натанаэля вместе со снедающей тоской возродилась прежняя любовь, какую он чувствовал к прелестной Кларе в беспечальные дни своей юности. Он выронил смертоносное оружие и упал к ногам Клары.

— Простишь ли ты меня когда-нибудь, моя Клара, единственная любовь моя? Простишь ли ты меня, любезный брат мой Лотар?

Лотар был тронут его глубокой горестью. Примиренные, все трое обнимали друг друга и клялись вечно пребывать в непрестанной любви и верности.

Натанаэлю казалось, что с него свалилась безмерная тяжесть, пригнетавшая его к земле, и, что, восстав против темной силы, овладевшей им, он спас все свое существо, которому грозило уничтожение. Еще три блаженных дня провел он с любимыми друзьями, потом отправился в Г., где полагал пробыть еще год, чтобы потом навсегда воротиться в родной город.

От матери Натанаэля скрыли все, что имело отношение к Коппелиусу, ибо знали, что она не могла без содрогания вспоминать о человеке, которого она, как и Натанаэль, считала виновным в смерти своего мужа.

Каково было удивление Натанаэля, когда, направляясь к своей квартире, он увидел, что весь дом сгорел и на пожарище из-под груды мусора торчали лишь голые обгорелые стены. Невзирая на то что огонь занялся в лаборатории аптекаря, жившего в нижнем этаже, и дом стал выгорать снизу, отважные и решительные друзья Натанаэля

успели вовремя проникнуть в его комнату, находившуюся под самой крышей, и спасли его книги, манускрипты и инструменты. Все в полной сохранности было перенесено в другой дом, где они наняли комнату и куда Натанаэль тотчас переселился. Он не придавал особого значения тому, что жил теперь как раз напротив профессора Спаланцани, и точно так же ему нисколько не показалось странным, когда он заметил, что из его окна видна комната, где часто сживала в одиночестве Олимпия, так что он мог отчетливо различить ее фигуру, хотя черты лица ее оставались смутны и неясны. Правда, наконец и его удивило, что Олимпия целыми часами оставалась все в том же положении, в каком он ее однажды увидел через стеклянную дверь; ничем не занимаясь, она сидела за маленьким столиком, неотступно устремив на него неподвижный взгляд; он должен был признаться, что никогда еще не видывал такого прекрасного стана; меж тем, храня в сердце облик Клары, он оставался совершенно равнодушен к одеревенелой и неподвижной Олимпии и только изредка бросал поверх компендиума рассеянный взор на эту прекрасную статую, и это было все. И вот однажды, когда он писал письмо Кларе, к нему тихо постучали; на его приглашение войти дверь отворилась и отвратительная голова Коппелиуса просунулась вперед. Натанаэль содрогнулся в сердце своем, но, вспомнив, что говорил ему Спаланцани о своем земляке Копполе и что он сам свято обещал возлюбленной относительно Песочника Коппелиуса, он устыдился своего ребяческого страха перед привидениями, с усилием поборол себя и сказал с возможной кротостью и спокойствием:

— Я не покупаю барометров, любезный, оставьте меня!

Но тут Коппола совсем вошел в комнату и, скривив огромный рот в мерзкую улыбку, сверкая маленькими колючими глазками из-под длинных седых ресниц, хриплым голосом сказал:

— Э, не барометр, не барометр! — есть хорОши глаз — хорОши глаз!

Натанаэль вскричал в ужасе:

— Безумец, как можешь ты продавать глаза? Глаза! Глаза!

Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и очки и стал раскладывать их на столе.

— Ну вот, ну вот, — очки, очки надевать на нос, — вот мой глаз, — хорОши глаз!

И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и тарасились; и он уже сам не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал:

— Остановись, остановись, ужасный человек!

Он крепко схватил Копполу за руку в ту минуту, когда тот полез в карман, чтобы достать еще новые очки, невзирая на то что весь стол уже был ими завален. С противным сиплым смехом Коппола тихо высвободился, приговаривая:

— А, — не для вас, — но вот хорош стекло. — Он сгреб в кучу все очки, попрятал их и вынул из бокового кармана множество маленьких и больших подозрных трубок. Как только очки были убраны, Натанаэль совершенно успокоился и, вспомнив о Кларе, понял, что ужасный сей призрак возник в собственной его душе, равно как и то, что Коппола — весьма почтенный механик и оптик, а никак не проклятый двойник и выходец с того света Коппелиус. Также и во всех инструментах, которые Коппола разложил на столе, не было ничего особенного, по крайней мере столь прозрачного, как в очках, и, чтобы все загладить, Натанаэль решил в самом деле что-нибудь купить у Копполы. Итак, он взял маленькую карманную подозрную трубку весьма искусной работы и, чтоб попробовать ее, посмотрел в окно. Во всю жизнь не попадались ему стекла, которые бы так верно, чисто и явственно приближали предметы. Невольно он поглядел в комнату Спаланцани; Олимпия, по обыкновению, сидела за маленьким столом, положив на него руки и сплетя пальцы. Тут только узрел Натанаэль дивную красоту ее лица. Одни глаза только казались ему странно неподвижными и мертвыми. Но чем пристальнее он всматривался в подозрную трубку, тем более казалось ему, что глаза Олимпии испускают влажное лунное сияние. Как будто в них только теперь зажглась зрительная сила; все живее и живее становились ее взоры. Натанаэль как замороженный стоял у окна, беспрестанно созерцая небесно прекрасную Олимпию. Покашливание и

пошаркивание, послышавшиеся подле него, пробудили его как бы от глубокого сна. За его спиной стоял Коппола: «Tre zechini — три дуката». Натанаэль совершенно забыл про оптика; он поспешно заплатил, сколько тот потребовал.

— Ну, как, — хорош стекло? Хорош стекло? — спросил с коварной усмешкой Коппола мерзким сиплым голосом.

— Да, да, да! — досадливо отвечал Натанаэль.

— Adieu, любезный. — Коппола удалился, не переставая бросать на Натанаэля странные косые взгляды. Натанаэль слышал, как тот громко смеялся на лестнице. «Ну вот, — решил он, — он смеется надо мною потому, что я слишком дорого заплатил за эту маленькую подзорную трубку — слишком дорого заплатил!» Когда он прошептал эти слова, в комнате послышался леденящий душу, глубокий, предсмертный вздох; дыхание Натанаэля перехватило от наполнившего его ужаса. Но это он сам так вздохнул, в чем он тотчас же себя уверил. «Клара, — сказал он наконец самому себе, — справедливо считает меня вздорным духовидцем, однако ж не глупо ли, — ах, более чем глупо, — что нелепая мысль, будто я переплатил Копполе за стекло, все еще странно тревожит меня; я не вижу для этого никакой причины». И вот он присел к столу, чтобы окончить письмо Кларе, но, плюнувши в окно, убедился, что Олимпия все еще на прежнем месте, и в ту же минуту, словно побуждаем непреодолимою силою, он вскочил, схватил подзорную трубку Копполы и уже не мог более отвести взора от прельстительного облика Олимпии, пока его друг и названный брат Зигмунд не пришел за ним, чтобы идти на лекцию профессора Спаланцани. Занавеска, скрывавшая роковую комнату, была плотно задернута; ни в этот раз, ни в последующие два дня он не мог увидеть Олимпию ни здесь, ни в ее комнате, хотя почти не отрывался от окна и беспрестанно смотрел в подзорную трубу Копполы. На третий день занавесили даже окна. Полон отчаяния, гонимый тоской и пламенным желанием, он побежал за город. Образ Олимпии витал перед ним в воздухе, выступая из-за кустов, и большими светлыми глазами глядел на него из прозрачного родника. Облик Клары совершенно изгладился из его сердца; ни о чем более не думая, как только об Олимпии, он стенал громко и горестно: «О прекрасная, горняя звезда моей любви, неужто взошла ты для того

только, чтоб тотчас опять исчезнуть и оставить меня во мраке безутешной ночи?»

Возвращаясь домой, Натанаэль заметил в доме профессора Спаланцани шумное движение. Двери были растворены настежь, вносили всякую мебель; рамы в окнах первого этажа были выставлены, хлопотливые служанки сновали взад и вперед, подметали пол и смахивали пыль длинными волосяными щетками. Столяры и обойщики оглашали дом стуком молотков. Натанаэль в совершенном изумлении остановился посреди улицы; тут к нему подошел Зигмунд и со смехом спросил:

— Ну, что скажешь о старике Спаланцани?

Натанаэль ответил, что он решительно ничего не может сказать, ибо ничего не знает о профессоре, более того, не может надивиться, чего ради в таком тихом, нелюдимом доме поднялась такая кутерьма и суматоха; тут он узнал от Зигмунда, что Спаланцани дает завтра большой праздник, концерт и бал и что приглашена половина университета. Прошел слух, что Спаланцани в первый раз покажет свою дочь, которую он так долго и боязливо скрывал от чужих взоров.

Натанаэль нашел у себя пригласительный билет и в назначенный час с сильно бьющимся сердцем отправился к профессору, когда уже стали съезжаться кареты и убранные залы засияли огнями. Собрание было многочисленно и блестяще. Олимпия явилась в богатом наряде, выбранном с большим вкусом. Нельзя было не восхититься прекрасными чертами ее лица, ее станом. Ее несколько странно изогнутая спина, ее талия, тонкая как у осы, казалось, происходили от слишком сильной шнуровки. В ее осанке и поступи была заметна какая-то размеренность и жесткость, что многих неприятно удивило; это приписывали принужденности, которую она испытывала в обществе. Концерт начался. Олимпия играла на фортепьяно с величайшей беглостью, а также пропела одну бравурную арию чистым, почти резким голосом, похожим на хрустальный колокольчик. Натанаэль был вне себя от восторга; он стоял в самом последнем ряду, и ослепительный блеск свечей не позволял ему хорошенько рассмотреть черты певицы. Поэтому он незаметно вынул подзорную трубку Копполы и стал смотреть через нее на прекрасную Олимпию. Ах, тут он приметил, с какой тоской глядит она на него, как всякий звук сперва возникает в полном любви взоре, который воспламеняет

его душу. Искуснейшие рулады казались Натанаэлю возносящимся к небу ликованием души, просветленной любовью, и, когда в конце каденции по залу рассыпалась долгая звонкая трель, словно пламенные руки внезапно обвили его, он уже не мог совладать с собою и в исступлении от восторга и боли громко вскрикнул: «Олимпия!» Все обернулись к нему, многие засмеялись. Соборный органист принял еще более мрачный вид и сказал только: «Ну-ну!» Концерт окончился, начался бал. «Танцевать с нею! с нею!» Это было целью всех помыслов, всех желаний Натанаэля; но как обрести в себе столько дерзости, чтобы пригласить ее, царицу бала? Но все же! Когда танцы начались, он, сам не зная как, очутился подле Олимпии, которую еще никто не пригласил, и, едва будучи в силах пролепетать несколько невнятных слов, взял ее за руку. Как лед холодна была рука Олимпии; он содрогнулся, почувствовав ужасающий холод смерти; он пристально поглядел ей в очи, и они засветились ему любовью и желанием, и в то же мгновение ему показалось, что в жилах ее холодной руки началось биение пульса и в них закипела живая горячая кровь. И вот душа Натанаэля еще сильнее зажглась любовным восторгом; он охватил стан прекрасной Олимпии и умчался с нею в танце. До сих пор он полагал, что всегда танцует в такт, но своеобразная ритмическая твердость, с какой танцевала Олимпия, порядком сбивала его, и он скоро заметил, как мало держится такта. Однако он не хотел больше танцевать ни с какой другой женщиной и готов был тотчас убить всякого, кто бы ни подошел пригласить Олимпию. Но это случилось всего два раза, и, к его изумлению, Олимпия, когда начинались танцы, всякий раз оставалась на месте, и он не уставал все снова и снова ее приглашать. Если бы Натанаэль мог видеть что-либо, кроме прекрасной Олимпии, то неминуемо приключилась бы какая-нибудь досадная ссора и перепалка, ибо, нет сомнения, негромкий, с трудом удерживаемый смех, возникавший по углам среди молодых людей, относился к прекрасной Олимпии, на которую они, неизвестно по какой причине, все время устремляли любопытные взоры. Разгоряченный танцами и в изобилии выпитым вином, Натанаэль отбросил природную застенчивость. Он сидел подле Олимпии и, не отпуская ее руки, с величайшим пылом и воодушевлением говорил о своей любви в выражениях, которых никто не мог бы понять — ни он сам, ни Олимпия. Впрочем, она-то, быть

может, и понимала, ибо не сводила с него глаз и поминутно вздыхала: «Ах-ах-ах!»

В ответ Натанаэль говорил:

— О прекрасная небесная дева! Ты луч из обетованного потустороннего мира любви! В кристальной глубине твоей души отражается все мое бытие! — и еще немало других подобных слов, на что Олимпия все время отвечала только: «Ах-ах!» Профессор Спаланцани несколько раз проходил мимо счастливых влюбленных и, глядя на них, улыбался с каким-то странным удовлетворением. Между тем Натанаэлю, хотя он пребывал в совсем ином мире, вдруг показалось, что в покоях профессора Спаланцани стало темнее; он огляделся и, к своему немалому испугу, увидел, что в пустом зале догорают и вот-вот погаснут две последние свечи. Музыка и танцы давно прекратились. «Разлука, разлука!» — вскричал он в смятении и отчаянии. Он поцеловал руку Олимпии, он наклонился к ее устам, холодные как лед губы встретились с его пылающими! И вот он почувствовал, что ужас овладевает им, как и тогда, когда он коснулся холодной руки Олимпии; легенда о мертвой невесте внезапно пришла ему на ум; но Олимпия крепко прижала его к себе, и, казалось, поцелуй наполнил живительным теплом ее губы. Профессор Спаланцани медленно прохаживался по опустевшей зале; шаги его громко повторяло эхо, зыбкие тени скользили по его фигуре, придавая ему ужасающий призрачный вид.

— Любишь ли ты меня? Любишь ли ты, меня, Олимпия? Одно только слово! Любишь ли ты меня? — шептал ей Натанаэль, но Олимпия, поднимаясь с места, только вздохнула: «Ах-ах!»

— О прекрасная благосклонная звезда моей любви, — говорил Натанаэль, — ты взошла для меня и будешь вечно сиять и преображать светом своим мою душу!

— Ах-ах! — отвечала Олимпия, удаляясь. Натанаэль пошел за ней; они очутились перед профессором.

— Вы необыкновенно живо беседовали с моей дочерью, — сказал он, улыбаясь, — что ж, любезный господин Натанаэль, ежели вы находите приятность в беседе с этой робкой девушкой, я всегда буду рад видеть вас у себя!

Натанаэль ушел, унося в сердце своем необъятное сияющее небо.

Все следующие дни праздник Спаланпани был предметом городских толков. И хотя профессор употребил все усилия, чтобы блеснуть пышностью и великолепием, однако ж сыскались насмешники, сумевшие порассказать о всяких странностях и нелепостях, какие были замечены на празднике, и особенно нападавшие на оцепенелую, безгласную Олимпию, которую, невзирая на красивую наружность, обвиняли в совершенном тупоумии, по какой причине Спаланцани и скрывал ее так долго. Натанаэль слушал эти толки не без затаенного гнева, но он молчал; ибо, полагал он, стоит ли труда доказывать этим буршам, что их собственное тупоумие препятствует им познать глубокую прекрасную душу Олимпии.

— Сделай милость, брат, — спросил его однажды Зигмунд, — сделай милость и скажи, как это тебя угораздило втюриться в эту деревянную куклу, в эту восковую фигуру?

Натанаэль едва не разгневался, но тотчас же одумался и ответил:

— Скажи мне, Зигмунд, как от твоей впечатлительной души, от твоих ясновидящих глаз, всегда открытых для всего прекрасного, могли ускользнуть неземные прелести Олимпии? Но потому — да возблагодарим за это судьбу! — ты не сделался моим соперником; ибо тогда один из нас должен был упасть, истекая кровью.

Зигмунд сразу увидел, как далеко зашел его друг, искусно переменял разговор и, заметив, что в любви никогда нельзя судить о предмете, прибавил:

— Однако достойно удивления, что у многих из нас об Олимпии примерно одно и то же суждение. Она показалась нам — не посетуй, брат! — какой-то странно скованной и бездушной. То правда, стан ее соразмерен и правилен, точно так же, как и лицо! Ее можно было бы почесть красавицей когда бы взор ее не был так безжизнен, я сказал бы даже, лишен зрительной силы. В ее поступи какая-то удивительная размеренность, каждое движение словно подчинено ходу колес заводного механизма. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правильный, бездушный такт поющей машины; то же можно сказать и о ее танце. Нам сделалось не по себе от присутствия этой Олимпии, и мы, право, не хотели иметь с нею дела, нам все казалось, будто она только поступает как живое существо, но тут кроется какое-то особое обстоятельство.

Натанаэль не дал воли горькому чувству, охватившему его было после слов Зигмунда, он поборол свою досаду и только сказал с большою серьезностью:

— Может статься, что вам, холодным прозаикам, и не по себе от присутствия Олимпии. Но только душе поэта открывает себя сходная по натуре организация! Только мне светят ее полные любви взоры, пронизывая сиянием все мои чувства и помыслы, только в любви Олимпии обретаю я себя вновь. Вам, может статься, не по нраву, что она не вдается в пустую болтовню, как иные поверхностные души. Она не многоречива, это правда, но ее скупые слова служат как бы подлинными иероглифами внутреннего мира, исполненными любви и высшего постижения духовной жизни через созерцание вечного потустороннего бытия. Однако ж вы глухи ко всему этому, и слова мои напрасны.

— Да сохранил тебя бог, любезный брат! — сказал Зигмунд с большою нежностью, почти скорбно, — но мне кажется, ты на дурном пути. Положись на меня, когда все... — нет, я ничего не могу больше сказать!..

Натанаэль вдруг почувствовал, что холодный прозаический Зигмунд непритворно ему предан, и с большою сердечностью пожал протянутую ему руку.

Натанаэль совсем позабыл, что на свете существует Клара, которую он когда-то любил; мать, Лотар — все изгладилось из его памяти, он жил только для Олимпии и каждодневно проводил у нее несколько часов, разглагольствуя о своей любви, о пробужденной симпатии, о психическом избирательном сродстве, и Олимпия слушала его с неизменным благоволением. Из самых дальних углов своего письменного стола Натанаэль выгреб все, что когда-либо насочинял. Стихи, фантазии, видения, романы, рассказы умножались день ото дня, и все это вперемешку со всевозможными сумбурными сонетами, стансами и канцонами он без устали целыми часами читал Олимпии. Но зато у него еще никогда не бывало столь прилежной слушательницы. Она не вязала и не вышивала, не глядела в окно, не кормила птиц, не играла с комнатной собачонкой, с любимой кошечкой, не вертела в руках обрывок бумаги или еще что-нибудь, не силилась скрыть зевоту тихим притворным покашливанием — одним словом, целыми часами, не трогаясь с места, не шелохнувшись,

глядела она в очи возлюбленному, не сводя с него неподвижного взора, и все пламеннее, все живее и живее становился этот взор. Только когда Натанаэль наконец подымался с места и целовал ей руку, а иногда и в губы, она вздыхала: «Ах-ах!» — и добавляла:

— Доброй ночи, мой милый!

— О прекрасная, неизреченная душа! — восклицал Натанаэль, возвратись в свою комнату, — только ты, только ты одна глубоко понимаешь меня!

Он трепетал от внутреннего восторга, когда думал о том, какое удивительное созвучие их душ раскрывалось с каждым днем; ибо ему чудилось, что Олимпия почерпнула суждение о его творениях, о его поэтическом даре из самой сокровенной глубины его души, как если бы прозвучал его собственный внутренний голос. Так оно, надо полагать, и было; ибо Олимпия никаких других слов, кроме помянутых выше, никогда не произносила. Но если Натанаэль в светлые, рассудительные минуты, как, например, утром, тотчас после пробуждения, и вспоминал о полнейшей пассивности и немногословии Олимпии, то все же говорил: «Что значат слова, слова! Взгляд ее небесных очей говорит мне более, нежели любой язык на земле! Да и может ли дитя небес вместить себя в узкий круг, очерченный нашими жалкими земными нуждами?» Профессор Спаланцани, казалось, донельзя был обрадован отношениями его дочери с Натанаэлем; он недвусмысленно оказывал ему всяческие знаки благоволения, и, когда Натанаэль наконец отважился обиняком высказать свое желание обручиться с Олимпией, профессор расплылся в улыбке и объявил, что предоставляет своей дочери свободный выбор. Ободренный этими словами, с пламенным желанием в сердце, Натанаэль решил на следующий же день умолять Олимпию со всею откровенностью, в ясных словах сказать ему то, что уже давно открыли ему ее прекрасные, полные любви взоры, — что она желает принадлежать ему навеки. Он принялся искать кольцо, которое подарила ему при расставании мать, дабы поднести его Олимпии как символ своей преданности, зарождающейся совместной цветущей жизни. Письма Клары, Лотара попались ему под руку; он равнодушно отбросил их, нашел кольцо, надел на палец и полетел к Олимпии. Уже на лестнице, уже в сенях услышал он необычайный шум, который как будто доносился из

рабочего кабинета Спаланцани. Топанье, звон, толчки, глухие удары в дверь вперемешку с бранью и проклятиями. «Пусти, пусти, бесчестный злодей! Я вложил в нее всю жизнь! — Ха-ха-ха-ха! — Такого уговора не было! — Я, я сделал глаза! — А я заводной механизм! — Болван ты со своим механизмом! — Проклятая собака, безмозглый часовщик! — Убирайся! — Сатана! — Стой! Поденщик! Каналья! — Стой! — Прочь! — Пусти!» То были голоса Спаланцани и отвратительного Коппелиуса, гремевшие и бушевавшие, заглушая друг друга. Натанаэль, охваченный неизъяснимым страхом, ворвался к ним. Профессор держал за плечи какую-то женскую фигуру, итальянец Коппола тянул ее за ноги, оба тащили и дергали в разные стороны, с яростным ожесточением стараясь завладеть ею. В несказанном ужасе отпрянул Натанаэль, узнав Олимпию; воспламененный безумным гневом, он хотел броситься к беснующимся, чтобы отнять возлюбленную; но в ту же минуту Коппола с нечеловеческой силой вырвал из рук Спаланцани фигуру и нанес ею профессору такой жестокий удар, что тот зашатался и упал навзничь на стол, заставленный фиалами, ретортами, бутылками и стеклянными цилиндрами; вся эта утварь со звоном разлетелась вдребезги. И вот Коппола взвалил на плечи фигуру и с мерзким визгливым смехом торопливо сбегал по лестнице, так что слышно было, как отвратительно свесившиеся ноги Олимпии с деревянным стуком бились и громыхали по ступеням.

Натанаэль оцепенел — слишком явственно видел он теперь, что смертельно бледное восковое лицо Олимпии лишено глаз, на их месте чернели две впадины: она была безжизненной куклой. Спаланцани корчился на полу, стеклянные осколки поранили ему голову, грудь и руку, кровь текла ручьями. Но он собрал все свои силы.

— В погоню — в погоню — что ж ты медлишь? Коппелиус, Коппелиус, он похитил у меня лучший автомат... Двадцать лет работал я над ним — я вложил в него всю жизнь; заводной механизм, речь, движение — все мое. Глаза, глаза он украл у тебя! Проклятый, злодей! В погоню!.. Верни мне Олимпию... Вот тебе глаза!

И тут Натанаэль увидел на полу кровавые глаза, устремившие на него неподвижный взор; Спаланцани невинной рукой схватил их и бросил в него, так что они ударились ему в грудь. И тут безумие впустило в него огненные свои когти и проникло в его душу, раздирая

его мысли и чувства. «Живей-живей-живей, — кружись, огненный круг, кружись, — веселей-веселей, куколка, прекрасная куколка, — живей, — кружись-кружись!» И он бросился на профессора и сдавил ему горло. Он задушил бы его, когда б на шум не сбежалось множество людей, которые ворвались в дом и, оттащив иступленного Натанаэля, спасли профессора и перевязали его раны. Зигмунд, как ни был он силен, не мог совладеть с беснующимся; Натанаэль неумолчно кричал страшным голосом: «Куколка, кружись, кружись!» — и слепо бил вокруг себя кулаками. Наконец соединенными усилиями нескольких человек удалось его побороть; его повалили на пол и связали. Речь его перешла в ужасающий звериный вой. Так неистовствующего и отвратительно беснующегося Натанаэля перевезли в дом сумасшедших.

Благосклонный читатель, прежде чем я продолжу свой рассказ о том, что случилось далее с несчастным Натанаэлем, я могу, — ежели ты принял некоторое участие в искусном механике и мастере автоматов Спаланцани, — уверить тебя, что он совершенно излечился от своих ран. Однако ж он принужден был оставить университет, ибо история Натанаэля возбудила всеобщее внимание и все почли совершенно недозволительным обманом вместо живого человека контрабандой вводить в рассудительные благомыслящие светские собрания за чайным столом деревянную куклу (Олимпия с успехом посещала такие чаепития). Юристы даже называли это особенно искусным и достойным строгого наказания подлогом, ибо он был направлен против всего общества и подстроен с такою хитростью, что ни один человек (за исключением некоторых весьма проницательных студентов) этого не заметил, хотя теперь все покачивали головами и ссылались на различные обстоятельства, которые казались им весьма подозрительными. Но, говоря по правде, они ничего путного не обнаружили. Могло ли, к примеру, кому-нибудь показаться подозрительным, что Олимпия, по словам одного изящного чаепиетиста^[3], вопреки всем приличиям, чаще чихала, чем зевала? Это, полагал щеголь, было самозаводом скрытого механизма, отчего явственно слышался треск и т. п. Профессор поэзии и красноречия, взяв щепотку табаку, захлопнул табакерку, откашлялся и сказал торжественно: «Высокочтимые господа и дамы! Неужто вы не заметили, в чем тут загвоздка? Все это аллегория — продолжение

метафоры. Вы меня понимаете! Sapienti sat!»^[4] Однако ж большую часть высокочтимых господ подобные объяснения не успокоили; рассказ об автомате глубоко запал им в душу, и в них вселилась отвратительная недоверчивость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совершенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивили в пении и танцевали не в такт, чтобы они, когда им читали вслух, вязали, вышивали, играли с комнатной собачкой и т. д., а более всего, чтобы они не только слушали, но иногда говорили и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чувства. У многих любовные связи укрепились и стали задушевней, другие, напротив, спокойно разошлись. «Поистине, ни за что нельзя поручиться», — говорили то те, то другие. Во время чаепития все невероятно зевали и никто не чихал, чтобы отвести от себя всякое подозрение. Спаланцани, как уже сказано, был принужден уехать, дабы избежать судебного следствия по делу «об обманном введении в общество людей-автоматов». Коппола также исчез.

Натанаэль пробудился словно от глубокого тяжкого сна; он открыл глаза и почувствовал, как неизъяснимая отрада обвеивает его нежной небесной теплотой. Он лежал на кровати, в своей комнате, в родительском доме, Клара склонилась над ним, а неподалеку стояли его мать и Лотар.

— Наконец-то, наконец-то, возлюбленный мой Натанаэль, ты исцелился от тяжкого недуга — ты снова мой! — так говорила Клара с проникновенной сердечностью, обнимая Натанаэля.

Светлые, горячие слезы тоски и восторга хлынули у него из глаз, и он со стоном воскликнул:

— Клара!.. Моя Клара!

Зигмунд, преданно ухаживавший все это время за другом, вошел в комнату. Натанаэль протянул ему руку.

— Верный друг и брат, ты не оставил меня!

Все следы помешательства исчезли; скоро, попечениями матери, возлюбленной, друзей, Натанаэль совсем оправился. Счастье снова посетило их дом; старый скупой дядя, от которого никогда не ждали наследства, умер, отказав матери Натанаэля, помимо значительного состояния, небольшое имение в приветливой местности, неподалеку

от города. Туда решили они переселиться: мать, Натанаэль, Клара, с которой он решил теперь вступить в брак, и Лотар. Натанаэль, более чем когда-либо, стал мягок и по-детски сердечен, только теперь открылась ему небесно чистая, прекрасная душа Клары. Никто не подавал и малейшего намека, который мог бы ему напомнить о прошлом. Только когда Зигмунд уезжал, Натанаэль сказал ему:

— Ей-богу, брат, я был на дурном пути, но ангел вовремя вывел меня на светлую стезю! Ах, то была Клара!

Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь, как бы глубоко ранящие душу воспоминания не вспыхнули в нем с ослепительной силой. Наступило время, когда четверо счастливцев должны были переселиться в свое поместье. Около полудня они шли по городу. Совершили кое-какие покупки; высокая башня ратуши бросала на рынок исполинскую тень.

— Вот что, — сказала Клара, — а не подняться ли нам наверх, чтобы еще раз поглядеть на окрестные горы?

Сказано — сделано. Оба, Натанаэль и Клара, взошли на башню, мать со служанкой отправились домой, а Лотар, не большой охотник лазать по лестницам, решил подождать их внизу. И вот влюбленные рука об руку стояли на верхней галерее башни, блуждая взорами в подернутых дымкою лесах, позади которых, как исполинские города, высились голубые горы.

— Посмотри, какой странный маленький серый куст, он словно движется прямо на нас, — сказала Клара.

Натанаэль машинально опустил руку в карман; он нашел подзорную трубку Копполы, поглядел в сторону... Перед ним была Клара! И вот кровь забилась и закипела в его жилах — весь помертвев, он устремил на Клару неподвижный взор, но тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза; он ужасающе взревел, словно затравленный зверь, потом высоко подскочил и, перебивая себя отвратительным смехом, пронзительно закричал: «Куколка, куколка, кружись! Куколка, кружись, кружись!» — с неистовой силой схватил Клару и хотел сбросить ее вниз, но Клара в отчаянии и в смертельном страхе крепко вцепилась в перила. Лотар услышал неистовство безумного, услышал истошный вопль Клары; ужасное предчувствие объяло его, опрометью бросился он наверх; дверь на вторую галерею была заперта; все

громче и громче становились отчаянные вопли Клары. В беспомощности от страха и ярости Лотар изо всех сил толкнул дверь, так что она распахнулась. Крики Клары становились все глуше: «На помощь! спасите, спасите...» — голос ее замирал. «Она погибла — ее умертвил иступленный безумец!» — кричал Лотар. Дверь на верхнюю галерею также была заперта. Отчаяние придало ему силу невероятную. Он сшиб дверь с петель. Боже праведный! Клара билась в объятиях безумца, перекинувшего ее за перила. Только одной рукой цеплялась она за железный столбик галереи. С быстротою молнии схватил Лотар сестру, притянул к себе и в то же мгновение ударил беснующегося Натанаэля кулаком в лицо, так что тот отпрянул, выпустив из рук свою жертву.

Лотар сбежал вниз, неся на руках бесчувственную Клару. Она была спасена. И вот Натанаэль стал метаться по галерее, скакать и кричать: «Огненный круг, крутись, крутись! Огненный круг, крутись, крутись!» На его дикие вопли стал сбегаться народ; в толпе маячила долговязая фигура адвоката Коппелиуса, который только что воротился в город и сразу же пришел на рынок. Собирались взойти на башню, чтобы связать безумного, но Коппелиус сказал со смехом: «Ха-ха, — повремените малость, он спустится сам», — и стал глядеть вместе со всеми. Внезапно Натанаэль стал недвижим, словно оцепенев, перевесился вниз, завидел Коппелиуса и с пронзительным воплем:

«А... Глаза! Хорош глаза!..» — прыгнул через перила.

Когда Натанаэль с разможенной головой упал на мостовую, — Коппелиус исчез в толпе.

Уверяют, что спустя много лет в отдаленной местности видели Клару, сидевшую перед красивым загородным домом рука об руку с приветливым мужем, а подле них играли двое резвых мальчуганов. Отсюда можно заключить, что Клара наконец обрела семейное счастье, какое отвечало ее веселому, жизнерадостному нраву и какое бы ей никогда не доставил смятенный Натанаэль.

Примечания

1

«Прямо к делу» (лат.).

В подлиннике каламбур: Teeist. — Ред.

3

Мудрому достаточно! (лат.)